

**Виктор Платонович Некрасов**  
**Рядовой Лютиков**

Как-то ночью я возвращался с передовой после какой-то проверки. Устал как черт. Мечтал о сне – больше ни о чем. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь... Но вышло не совсем так.

Спускаясь в наш овраг на берегу Волги, я еще издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять – пятнадцать бойцов сгрудились около входа в блиндаж.

– Чего толпитесь?

– Да заболел тут вроде один, – ответил кто-то из темноты.

– В санчасть отправить, значит, надо. Что стоите? Пополнение, что ли?

– Пополнение.

Получали мы его тогда (дело было в Сталинграде в конце января сорок третьего года) не часто и не густо, человек пятнадцать – двадцать в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же в овраге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, теплые зеленые рукавицы, оружие и отправляли на передовую.

Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев, мой связной.

– Симулянт... – Терентьев всем всегда был недоволен, на всех ворчал и всех осуждал. – Нажрался чего-то и в Ригу поехал. Напачкал только.

– Ладно. Позови Приймака. А бойцов... давайте-ка к штабу... А то подорветесь здесь еще на капсюлях. Живо...

Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю.

– Что с тобой?

Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило.

– Заведи его в землянку, – сказал я Терентьеву. – А я в штаб – и сейчас же назад. Приймаку скажи, чтоб градусник захватил.

Когда я вернулся из штаба, Приймак – фельдшер – сидел уже в землянке, и Терентьев поил его чаем.

– Ну что у него?

– А бог его знает, – отхлебывая горячий чай, сказал Приймак. – Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орел.

Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастеров и телогреек хрупкую стеклянку. Вид у него был плохой – лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные черные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.

Приймак глянул на градусник и встал.

– Тридцать восемь и пять, – поморщился. – Пускай полежит пока... После посмотрим.

Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку.

– Давно заболел? – спросил я.

– С утра.

– А чем кормили?

– Горох, консервы. Что еще...

– А раньше болел?

– Да как сказать... не очень.

Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас.

– Что же ты на том берегу не сказал, что болен? – спросил Приймак.

Боец поднял глаза – черные, усталые, лишенные веселого блеска глаза ничем не интересующегося человека, – но ничего не сказал.

– Симулянт, одно слово, – пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахара со стола в консервную банку. – Набил градусник, и все.

Приймак цыкнул на Терентьева:

– Много понимаешь ты в медицине, – и повернулся ко мне. – Консервы. Факт, что консервы. Пускай полежит денек.

Но Лютиков – фамилия бойца была Лютиков – пролежал не денек, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня – в блиндаж моих саперов угодила мина, и пришлось его чинить, – лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел, не мигая, в потолок черными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, без умолку ворчал и швырял предметами. Потом Лютиков перешел во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нем Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита.

– Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, а так только...

– Хлеба, что ли, жалко?

– Хлеба-то не жалко, хай ест, но бодрости от него никакой. И вопросы всякие задает. Глупые...

– Вопросы глупые?

– Очень даже. На прошлой политинформации, например. Спрашивает, почему сахару не дают. Он, мол, видел на станции, когда ехал сюда, три вагона с сахаром разбомбленные. Почему, говорит, не дают? Куда он девается? Или про второй фронт. Почему второй фронт не открывают? В общем, сами понимаете... На фронте не был. Не обстрелянный. На «Красном Октябре» бомбят, а он вздрагивает...

– А ты отвечать умей. На то и замполит. А то спихнуть хочешь. Хитер больно. Впрочем, скажи помкомвзводу, чтоб направление ему в санчасть дал.

Помкомвзвод направление написал, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж.

Прошло еще несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека и осталось четыре вместе с помкомвзводом. Командир взвода две недели уже как лежал в медсанбате. А работы как раз подвалило. Немцы разбили НП, и надо было в одну ночь его восстановить. Помкомвзвод, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришел ко мне и говорит:

– Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся.

– А он что, выздоровел?

– А бог его знает. Молчит все. Курить, правда, сегодня попросил. А раньше не курил. И обедать вставал.

– Что же, попробуй.

Под утро я пошел посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки.

– Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз, в обрез.

Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился.

– Никак. Возьмет бревно, полсотни метров перетащит – и как паровоз дышит.

– Завтра же в санчасть отправить. Пускай там решают. Толку не будет.

– М-да... Сапер не стоящий. Жидок больно.

На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона – начался утренний обстрел. Решили пересидеть.

Здоровенный, краснолицый, в кубанке набекрень, Никитин, комбат-три, распекал своего начальника штаба:

– Начальник штаба называется. Адъютант старший... Бумажки все пишешь, донесения. Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит – пушку эту сволочную подавить. Под мостом. А он и в ус не дует. Бумажки все пишет. Я целый день на передовой, Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле да по телефону только: «обстановочку, обстановочку». Вот тебе и обстановочка... Дохнуть не дает пушка окаянная.

Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы каким-то чудом втащили ее в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днем и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить ее никак не удавалось. Боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил никакого вреда – стреляла себе и стреляла. Только сейчас Никитин вернулся от командира полка после солидной головомойки и не знал, на ком сорвать злость. А начштаба сидит себе и крестики рисует.

Никитин набросился на меня:

– Тоже инженер называется... В газетах про вас, саперов, всякие чудеса пишут – то взорвали и то подорвали, а на деле что? Землянки начальству копаете.

Он встал, выругался и зашагал по блиндажу.

– Набрал себе здоровых хлопцев и трясется над ними... Снимут три-четыре мины и сейчас же домой.

Он остановился, сдвинув кубанку с одного уха на другое.

– Ну ей-богу же, инженер... Помоги чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка, – он хлопнул себя по шее. – Долбает, долбает, спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем... Ну, посоветуй хоть что-нибудь.

– А что я тебе посоветую?

– Ну взорви ее, сволочь проклятую. Ты же сапер. Дохнуть ведь не дает. Честное слово...

В голосе его проскочили какие-то даже жалобные нотки.

– У меня всего три человека, сам видишь. Пропадут – что я делать буду? Ты ж мне неполнишь...

– Ну одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделяю. Общее же дело, не мое, не личное.

– Где я тебе этого одного достану? Трех вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь.

– А эти? – Он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили саперы.

– Эти мне самому нужны. Один – минер, другой плотник, третий печник. Вот и все.

– А четвертый? Связной, что ли?

– Не связной, а так... Консервами отравился.

– Знаем мы эти консервы. – И повернувшись к саперам: – Кто объелся, сознавайся!

Лютиков встал.

– Подойди, не бойся.

Лютиков подошел. Нескладный, неестественно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитиным, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги, и ковырял лопатой землю.

– Что же у тебя болит? А?

Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимал, чего от него хотят, и тихо сказал:

– Нутро.

– Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите.

Лютиков поднял голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал.

– Ну, а пушку подорвать можешь?

– Какую пушку? – не понял Лютиков.

– Немецкую, конечно. Не нашу же...

– А где она?

– Ты мне скажи, можешь или нет. Чего я зря объяснять буду.

– Ладно, – перебил я Никитина. – Хватит жилы тянуть из человека. Поправится, тогда... Да он к тому же и не сапер. А если тебе действительно саперы нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных саперов вызвать.

– А ну их к дьяволу. С ними мороки больше, чем с твоими. Скажу майору – он тебе прикажет, вот и все.

– Посмотрим, все ли это. – Я встал. – Казаковцев, поднимай людей.

Саперы зашевелились.

Лютиков стоял и ковырял лопатой землю.

– Давай, Лютиков, – крикнул Казаковцев, – без нас тут справятся...

Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться.

Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится.

– Кто там? – буркнул из своего угла Терентьев.

– Старший лейтенант спят уже? – раздалось из-за двери.

– Спят.

– Кто это? – высунул я голову из-под шинели.

– Да все этот... Лютиков.

– Чего ему надо, спроси.

Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал.

– Спят старший лейтенант. Понятно? Утром придешь. Не горит.

Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, перевернулся на другой бок и заснул.

Утром, за перловым супом, Терентьев сообщил мне, что Лютиков раза три уже приходил и все спрашивал, не проснулся ли я.

– Позови-ка его.

Терентьев вышел. Через минуту вернулся с Лютиковым.

– В чем дело, рассказывай.

Лютиков замялся, неловко козырнул.

– Разрешите обратиться.

– Чаю хочешь? Налей-ка кружку, Терентьев.

– Спасибо, пил только что...

– Садись тогда, чего стоишь.

Лютиков сел на самый краешек лежанки.

– Чего же тебе надо от меня?

– А насчет этой... – с трудом выдавил он из себя. – Пушки той.

– Какой пушки?

– Что комбат давеча говорил.

– Ну?

– Подорвать, говорил комбат, ее надо.

– Надо. Дальше.

– Ну, вот я и того... решил, значит...

– Подорвать, что ли? Так я тебя понял?

– Так, – еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы.

– Ты что, в своем уме? Ты и тола-то живого не видел, зажигательной трубки. А еще туда же, взрывать.

– Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал, – в голосе его послышался упрек. – Обидел он меня сильно.

– Кто обидел?

– Комбат.

– Комбат?

– Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуетесь, когда воевать не хотите.

Я рассмеялся.

– Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдешь. Скажешь Казаковцеву, у него направление есть.

– Не пойду я в санроту...

– То есть как это не пойду?

– Не пойду, – еле слышно сказал Лютиков и встал.

– А ты не рассуждай и выполняй приказание. Кругом, шагом марш. Чтоб через час ты был в санроте.

Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня исподлобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел.

– А ты, Терентьев, мотай к Казаковцеву и передай ему мое приказание. Через полчаса доложишь об исполнении.

Целый день я пробыл в саперном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым.

– Чего ты тут?

– Трубы майору чинил. Печка дымит.

– Исправил?

– А как же.

– Меня майор не спрашивал?

– Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин. Вас ругает, что пушку не хотите подорвать.

– Плевать я на него хотел. Лютикова отправил?

Казаковцев только рукой махнул.

– Его отправишь. Не пойду, говорит, и все... Выздоровел я уже. Совсем выздоровел.

– Вот еще несчастье на нашу голову.

– Я его и так и этак, и добром и угрозами – ни в какую.

– Бойцы в расположении или на задании?

– Во втором батальоне, колья заготовляют.

– Вернутся – пошлешь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет.

Разговор на этом и кончился. Я постучался и вошел к майору. Он сидел на кровати в нижней рубахе и разговаривал с Никитиным.

– Вот жалуется на тебя комбат, – сказал он, показывая мне кивком на табуретку – садись, мол. – Пушку подорвать, говорит, не хочешь.

– Не не хочу, а не могу, товарищ майор.

– Почему?

– Людей нет.

– Сколько их у тебя?

– Трое и помкомвзвод.

Майор почесал рыхлую голую грудь и вздохнул.

– Маловато, конечно.

– Не три у него, а четыре, – резко сказал Никитин, не смотря на меня.

– Четвертый не сапер, товарищ майор.

Майор искоса посмотрел на меня.

– А тут твой помкомвзвод усатый говорил, что этот самый не сапер сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?

– Так, товарищ майор.

– Почему не докладываешь? А? – И вдруг разозлился: – Надо подорвать пушку, и все! Понял? А ну зови его сюда. Скажи часовому.

Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам – поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков горластого задиру, – а тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим набок ремнем и развязавшейся внизу обмоткой.

Майор встал, застегнул подтяжки и подошел к Лютикову.

– Вид почему такой? Обмотки болтаются. Ремень на боку... Щетина на щеках.

Лютиков густо и сразу как-то покраснел. Наклонился, чтобы поправить обмотку.

– Дома поправишь, – сказал майор. – А ну-ка посмотри на меня.

Лютиков выпрямился и посмотрел на майора.

– Я слышал, что пушку берешься подорвать? Правда?

– Правда, – совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора.

– А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты саперного дела не знаешь.

Лютиков чуть-чуть, уголками губ улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице.

– Плохо, конечно.

– Плохо или совсем не знаешь?

– Сказал, что подорву. Значит, подорву.

Даже Никитин засмеялся.

– Силен мужик...

– Ну, а ползать ты умеешь? По-пластунски? – спросил майор.

Лютиков опять кивнул головой.

– Покажи, как ты ползаешь. Кровать вот видишь мою – это пушка.

Лютиков укоризненно посмотрел на майора и тихо сказал:

– Не надо смеяться... товарищ майор.

Майор смутился – насупился и зачем-то стал натягивать на себя гимнастерку.

Вечером мы вместе с Лютиковым взяли заряды. Три заряда по десять четырехсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур.

Он даже осунулся за эти несколько часов.

В два часа ночи Терентьев меня разбудил и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает.

Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел на двор. Лютиков ждал уже у входа с мешком за плечами.

– Готов?

– Готов.

Мы пошли. Ночь была темная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шел молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетающей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалась.

Никитин ждал нас на своем КП.

– Водки дать? – с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой.

– Не надо, – ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка.

– И нетерпелив же ты, дружок, – засмеялся Никитин. – Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой. Непоседа...

Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил веревку, чтоб обмотать его.

– Ты дырку в мешке сделай, – сказал я, – и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь.

Лютиков отколупнул от полена щепочку, обтесал ее, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил ее аккуратно и положил около печки. Надел белый маскхалат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. Запасную в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он все медленно и молча. Лицо его было бледно.

В блиндаже было тихо. Даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затылка за затылком, докуривал сигарку. За столиком трещал сверчок, мирно и уютно, как будто и войны не было.

– Ну что, пошли? – спросил Лютиков.

– Пошли.

Мы вышли – я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень далеко испуганно фыркнул пулемет и умолк.

Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался.

Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.

– Здесь, – сказал Никитин.

Лютиков скинул мешок.

Впереди ровной белой грядой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят – семьдесят.

– Смотри внимательно, – сказал я Лютикову. – Сейчас она выстрелит.

Но пушка не стреляла.

– Вот сволочи! – выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротой.

– Видал где?

Лютиков пощупал рукой бруствер, натянул рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вышел из окопа.

– Ни пуха ни пера, – сказал Никитин. Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова.

Некоторое время ползущая фигура его еще была видна, потом слилась с общей белесой мутью.

– Хорошо, что ракет здесь не бросают, – сказал Никитин.

Пушка выстрелила еще раз. Потом еще два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина. Подошел какой-то боец и спросил, нету ли у нас спички или «катюши».

Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще три, еще две...

Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху посыпались комья мерзлой земли.

– Молодчина, – сказал Никитин.

Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри.

Немцы открыли лихорадочный, беспорядочный огонь. Минут пятнадцать – двадцать длился он. Потом стих. Часы показывали половину четвертого. Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно: бело и мутно. Опять сели на корточки.

– Накрылся, вероятно, – вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер. – А пушка-то молчит. Ничего не видно...

Я тоже встал – от долгого ожидания замерзли ноги.

– А ну-ка, посмотри, инженер, – толкнул меня в бок Никитин. – Не он ли?

Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось – неясное и расплывчатое. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам.

– Послать бы кого-нибудь.

Но поблизости никого не было.

– Черт с ним, давай сами...

Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было. Рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка вывалилась из кармана и валялась рядом.

Мы втащили его в окоп.

Лютиков умер. Три малюсеньких осколка – крохотные, как сахарные песчинки, я видел их потом в медсанбате – попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер.

За день до его смерти я был у него. Он лежал, бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты. Но он не спал. Когда я подошел к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня.

– Ну?..

В голосе его чувствовалась тревога, и в черных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал, – какая-то острая, сверлящая мысль.

– Все в порядке! – нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я. – Подлечишься мала-мала и обратно к нам.

– Нет, я не об этом...

– А о чем же?

– Пушка... Пушка как?

В этих трех словах было столько тревоги, столько боязни, что я не отвечу на то, о чем он все эти дни думал, что, если б он даже и не подорвал пушку, я б ему сказал, что подорвал. Но он подорвал ее, и не только ее, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не могли установить там.

И я ему сказал об этом.

Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая тогда, у майора в землянке, вторая – сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой – чуть-чуть только приподнимались уголки губ, – в этой улыбке было столько счастья, столько...

Я не выдержал и отвернулся.

Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган. Их загнали за овраг Долгий.

Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку – вернее остатки покореженного лафета – и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у него в бумажнике.

В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили на Украину.

У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, если я не ошибаюсь, до сих пор хранится в полку.